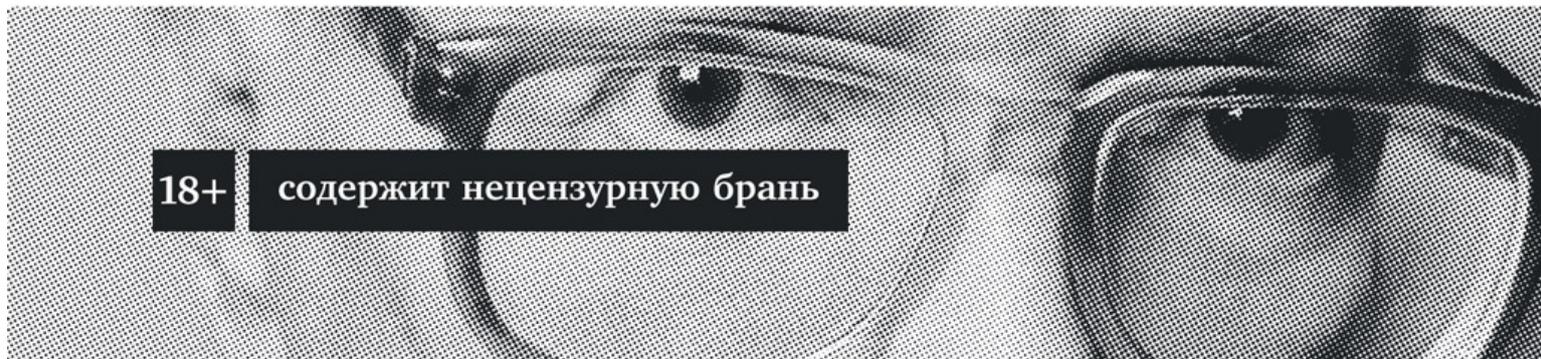


Книга мёртвых

М
М
Н
Б

18+

содержит нецензурную брань



Книга мёртвых

Эдуард Лимонов

Книга мёртвых

«Альпина Диджитал»

2001

Лимонов Э. В.

Книга мёртвых / Э. В. Лимонов — «Альпина Диджитал»,
2001 — (Книга мёртвых)

ISBN 978-5-00-139939-1

Собрание воспоминаний Лимонова о тех ярких фигурах, что встречались ему на пути. Среди них близкие и едва знакомые, знаменитости – Иосиф Бродский, Энди Уорхол, Татьяна Яковлева, Аллен Гинзберг – и люди не столь известные. Окидывая их судьбы холодным и отстраненным взором, Лимонов судит их – как и себя – со всей строгостью: «Мои требования к искусству очень высоки, мой жизненный цинизм остр, как опасная бритва». «О мертвых надо говорить плохое, иначе, не осудив их, мы не разберемся с живыми. Мертвых вообще всегда больше, чем живых. Быть мертвым – куда более естественное состояние. Поэтому – какие тут церемонии могут быть, мертвых жалеть не надо. Какие были – такие и были. Они имели время, все, какое возможно. Если не доделали чего-то... ну, разведем руками». «В литературе, как и во всех искусствах, выживает самый яркий. Удивительный, удивляющий. Он и получает весь банк». Особенности Обложки серии оформлены знаковыми портретами Эдуарда Лимонова, сделанными в годы написания каждой книги серии. «Разрыв, даже с чудовищем, всегда как репетиция смерти. Потому что все, что у тебя собрано: коллекция объятий, вечеров, ночей, случаев, молчания – все это подвергается опасности вдруг. Все это безжалостно убивается, по улыбкам ходят ногами, и часть жизни отмирает. И ты остаешься с меньшим количеством жизни». В книге присутствует нецензурная брань!

ISBN 978-5-00-139939-1

© Лимонов Э. В., 2001

© Альпина Диджитал, 2001

Содержание

Предисловие автора	8
Мой первый мертвый	9
Почтальоншин сын Кадик (Колька)	12
«Радость-страдание – одно...»	17
Конец ознакомительного фрагмента.	26

Эдуард Лимонов

Книга мёртвых

В книге сохраняются особенности авторской орфографии и пунктуации

Издатель П. Подкосов

Редактор Т. Соловьёва

Руководитель проекта М. Ведюшкина

Художественное оформление и макет Ю. Буга

Корректоры Т. Мёдингер, Ю. Сысоева

Компьютерная верстка А. Ларионов

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Эдуард Лимонов (наследники), 2001

© Художественное оформление, макет. ООО «Альпина нон-фикшн», 2023

* * *

Эдуард Лимонов
Книга мёртвых

МО
НО
НОВ
Б

Издательство
«Альпина нон-фикшн»
Москва, 2023

альпина
ПРОЗА

Предисловие автора

Я начинаю эту книгу в отвратительный дождливый день 29 июня 2000 года в северном городе Москве. Скучное и без того лето в этом году ампутировано майскими холодами и июньскими дождями. Вот в таком мрачном окружении я и начинаю «Книгу мертвых», как бы переключку тех, кого я знал и кто в свое время надолго или ненадолго побывал в моей жизни.

Нельзя сказать, что я хочу писать книгу. После «Анатомии героя» мне никак не хочется писать книги. Но мне нужны средства, чтобы... Впрочем, я не скажу вам, на какое предприятие мне нужны средства. А все обещания финансирования, данные мне, до сих пор не выполнены. Поэтому придется заставить работать мертвых. Признаюсь, что не испытываю особенных эмоций при виде мертвых. В лице мертвых мы всегда жалеем себя, оплакиваем куски своей жизни и боимся прямо направленного на нас жестокого взгляда рожденной вместе с нами нашей Смерти.

Я не жалею себя, считаю свою жизнь уже удавшейся свыше всех ожиданий, к тому же уже обещается, впереди проглядывается экзотическое, крайне интересное продолжение.

В «Книге мертвых» есть красавицы, чудовища и несколько героев. Одно только их присутствие уже обрекает книгу на успех. Издатели будут довольны, они вернут средства, заплаченные мне, и сделают еще денег.

В этой книге только индивидуальные мертвые.

В эту книгу не вошли сотни трупов или тысячи. Семь трупов из санитарной машины, разбомбленной на моих глазах на тенистой горной дороге в Боснии. Мы выкопали для них могилы в тяжелом грунте. Я просто не знаю их имен. Не вошли несколько сотен трупов из Центра опознания близ Вуковара, я видел их в ноябре 1991 года, никто не знал их имен. Не вошли сюда трупы погибших моих товарищей по фронту в Республике Книнской Краине, их судьба, как и судьба всего трехсотпятидесятитысячного сербского населения, неизвестна, я надеюсь, что живых больше, чем мертвых. В эту книгу не вошли... имена тех, кто еще не умер, но непременно умрет.

Мой первый мертвый

– Мать на тебя жалуется, – сказал он. – Работу ты бросил, – и замолчал. – На хера ты к бандитам лезешь, Эд? Мать обижаешь. Учился бы, стихи писал, в Москве вот Литературный институт есть... Поступил бы.

– А ты сам чего никуда не поступил? А то других учишь, а сам...

Мы стоим на балконе квартиры Сашки Ляшенко. На дворе 1961 год, весна. Год назад мы окончили десятилетку. Витька Проуторов был мой бывший одноклассник. Другого бы я послал, но Витьку я уважал. Я позволял ему «лечить» меня.

– У меня здоровья для института не хватит, – сказал он спокойно. – У меня мой клапан завтра может заклинить – и до свидания всем. Мне нагрузка такая в пять лет непосильная. Если бы мне здоровья, как у тебя, я бы так по жизни рванул! – Он горько улыбнулся.

Витька был самый красивый мальчик во всей 8-й средней. Русская мама и какой-то неизвестный чурка дали ему бархатные глаза, высокую гибкую фигуру, очень черные прямые волосы, бледное, чуть с желтизной лицо. К несчастью, дали еще синие круги под глазами и этот нездоровый клапан. Он играл на гитаре и аккордеоне. В оркестре 8-й средней школы, где удивительно, но все ребята были из нашего класса, он играл на аккордеоне, Сашка Тищенко на гитаре, Сашка Ляхович на барабанах и тарелках, вот только не помню, кто играл на трубе. Их коронный номер был вальс «Под небом Парижа». Боже, как я их вспоминал потом, очутившись вдруг под этим самым небом... «Sous la ciel de Paris»... Все 14 лет в Париже я их вспоминал время от времени. Особенно его, тогда уже мертвого.

Он жил в частном секторе возле старого еврейского кладбища. У них был небольшой домик, а рядом – недостроенный обширный новый. Туда ребята ходили репетировать. В комнате на полу стоял проигрыватель и лежали пластинки. Ну, конечно, виниловые, какие еще. Других тогда не было. Только начали появляться долгоиграющие. Что там у него лежало? Помню медоточивое польско-русское «Пчелка-бабочка»:

Утром сердце свое пчела
Этой бабочке отдала,
И они в голубую высь
Вместе с ней понеслись!

Потом модная тогда:

Тот, кто рожден был у моря,
Тот полюбил навсегда
Белые мачты на рейде,
В дымке морской города...

Кроме этого, эпоха характеризовалась переводными песенками, исполняемыми Великой или Пьехой.

Когда шумит ночной Марсель
И льется золотистый эль,
Среди парней идет она,
Рита, Рита, из Панама.

Еще «Джонни» – очевидно, прообразом послужил «Джонни» Эдит Пиаф, но слова были грубо переиначены:

Джонни, ты меня не знаешь,
Ты мне встреч не назначаешь.
В целом мире я одна.
Знаю, как тебе нужна,
Потому что ты мне нужен.

И Витькина мама, и отчим его относились к его гостям радушно. Может быть, потому, что Витька был обречен? Думаю, что вообще они были такие либеральные от природы. У Проуторовых всегда хорошо пахло, черт его знает чем, какой-то мастикой для полов, может быть, но не было убогого запаха еды и старых тряпок, характерного для советских квартир, да и для нынешних русских. Мама его была медсестра, а вот кто был отчим, я, за давностью лет, не помню. Скромный мужик в клетчатой рубашке. Они очень гордились Витькиными музыкальными способностями. Высокий, темные брюки, серый – как тогда говорили, буклированный – пиджак: Витька выглядел элегантно. Брюки у него были узкие, ноги длинные. Я, на полголовы меньше его, ему завидовал. А он завидовал моему здоровью. И первый признал мой талант. Он был один из немногих, кто держался от местной шпаны на дистанции, а я так и норовил влиться в эту самую шпану. Мои мотивы сегодня ясны как божий день, – за ними была сила, в поселке, где обитали работяги, быть шпаной было престижно. То есть я хотел примкнуть к банде. А Витька, еще моя мама, хотели, чтоб я не примыкал. Мать довольствовалась и заводом, вокруг были десятки заводов. Мы жили, стиснутые их заборами. Мать бывала довольна, когда я устраивался на работу, пусть и в три смены, ей главное было, чтоб я был как все. Витька, мы с ним просидели три года на одной парте, знал, что я не как все, и хотел для меня как минимум Литературного института.

Рядом с ним жила Вита Козырева, дочь доктора, у них был красивый кирпичный особняк за забором. А за еврейским кладбищем, мимо его ограды, вниз к Тюренке, жила Лариса Болотова. Потому Витька уходил из школы с ними. У них было два пути: или мимо моего дома, затем мимо радиозавода пройти через действующее большое и зеленое русское кладбище и выйти сразу к шоссе, по другую сторону которого лежало сухое, почти без деревьев, с проваленными плитами старое еврейское, и там уж Витьке и Вите Козыревой свернуть вдоль него налево, а Ларисе направо. Зимой же, и в грязь, а грязи бывали чудовищные, они чаще всего ездили в трамвае № 23 или 24. Через три остановки от школы трамвай подвозил их к месту назначения с другой стороны, остановка называлась «Завод “Электросталь”». С обеими девочками у Проуторова в разное время были романы. В конце концов они остались друзьями. С девочками проблем у него не было, к нему, высокому, бледному, черноволосому, они так и льнули. Печать смерти привлекала их? Скорее, то, что он был музыкант, артист, существо много выше классом, чем окружающие рабоче-крестьянские корявые ребята. Именно рабоче-крестьянские, ибо частный сектор сочетал крестьянскую жизнь огородов и садов с работой на многочисленных заводах. Это на его, на Витькином, лице я увидел в первый раз то, что называют «смертная мука». Мы шли как-то весной мимо моего дома, вдвоем, я пошел его проводить, и вдруг, впервые при мне, он попросил остановиться. Мы сели на край камня, чье-то надгробие, было тихо, слышно было монотонное и многоголосое жужжание пчел, ос и вообще насекомых. Витькино лицо, заметил я, стало серым. Он прикрыл глаза. И ответил на заданный вопрос: «Видишь, как хуево мне». При этом лицо его и выражало смертную муку, превращалось на моих глазах в неживую серую породу, покрытую пылью, увлажненную, ибо лицо водоточило. «Не смотри, – сказал он. – Сейчас, наверное, пройдет». Когда прошло, мы пошли дальше.

Я потом много раз вспоминал его. Его ко мне на балконе обращение. Еще до того, как он умер, потому что ну никто так меня не упрекал, что я свою жизнь не умею строить. А когда он умер, я уже жил в Москве, это был август 1968 года, я узнал о его смерти и нарисовал картину. Называлась «Витя Проуторов умер», где в пунктирных линиях на черном фоне очертания Витьки, его красное длинное тело движется на том свете. Что там, кстати? Хотелось бы знать еще тут. Что? Кромешная чернота? Полумрак, где сгустками вдруг обозначаются безлицые, бестелесные только души? Ничем не пахнет или пованивает болотом? Серой? Узнаем ли мы, попав туда, близких нам? Вопросов много. В сущности, одни только вопросы.

А умер он вот как. Вопреки запрещениям врачей, он все-таки женился. Запрещение ясно касалось сексуальной жизни. Напряг при оргазме мог уничтожить его сердце, как пить дать. Запросто. Но он женился и родил ребенка. Работал он рядом с моим прежним местожительством на Поперечной улице, на радиозаводе, мимо которого мы ходили из школы. Там работали в основном женщины и девушки, собирали в белых халатах электробритвы. Ну и он там работал, без особого напряжения работа – осторожно наматывали проволоку на моторчики. Было 23 февраля, он опаздывал, потому побежал. Прибежал на работу, подарок ему женщины подарили, ведь 23 Февраля, День Армии – мужской день. Вот и подарили. Он сел где-то сбоку с подарком: «Отдышусь сейчас», – говорит. Про него забыли, потом хватились: «Виктор, Виктор!» Тронули за плечо, а он умер. Ребенок после него вот остался, успел оставить после себя. Вот и я его в мире обозначил. 26 лет ему было.

Иногда он мне снится, с нарисованными усами. Я знаю, что это он мне снится с фотографии, где он и Вита Козырева, оба в кепках, с нарисованными усами.

Почтальоншин сын Кадик (Колька)

В 1982 году в Париже я быстро написал книгу «Автопортрет бандита в отрочестве». Родилась она из пары страниц текста. Я намеревался написать рассказ. Начинался он так:

Эди-бэби пятнадцать лет. Он стоит с безгливой физиономией, прислонившись спиной к стене дома, в котором помещается аптека, и ждет.

Ждал он Кадика. Кадик, он же Николай Ковалев, был моим другом в тот горячий, истеричный кусок жизни между детством и юностью, который в старину называли отрочеством. Сейчас это слово исчезло из употребления.

Блондинчик, худенький парнишка на год младше меня, сын неизвестного отца и Клавды почтальонши, жил в доме барачного типа. Эди-бэби недаром ждет его у аптеки. Ибо Колькин барак соседствовал с четырехэтажкой, в цокольном этаже которой помещалась аптека, единственная на весь Салтовский поселок. Сейчас те места поглотил город, а тогда из Колькиного окна на первом этаже барака была видна конечная трамвайная остановка, так называемый круг. Ребята так и говорили друг другу: «Пойду на “круг”», а если собирались сесть на другой трамвайной остановке, говорили: «Сяду на “Стахановском”». Название остановка получила от бетонного серо-черного здания клуба «Стахановский». Буквой Г сидел «Стахановский» в пыли и грязи Салтовского поселка. Рядом с клубом была летняя танцевальная площадка (зимой танцы происходили внутри клуба). Мимо клуба от трамвайной остановки к Материалистической улице шел пассажирский поток, и гуляли мы, подростки. На Материалистической находился гастроном № 7, каковой нередко манил наше воображение, нуждающееся в стимуляции. Таков был нехитрый мир нашей Салтовской географии. В поселке жили рабочие, называемые «козье племя», их было подавляющее большинство, жили «блатные» – агрессивное меньшинство. Небольшое количество инженерно-технических работников, учителей, врачей (т. е. бюджетников, как сейчас говорят) растворялось в море рабочего люда и считалось тоже козым племенем. Кроме этого, присутствовали «мусора». Три силы – простая космогония.

Колька Ковалев расширил мою вселенную, значительно увеличил ее. У него были друзья и знакомые в центре города. Кольку опекал и позволял ему таскаться в своем антураже саксофонист Юджин, лохматый чернявый тип. У Кольки у самого был саксофон, неизвестно как добытый, и он в те годы не часто, но изводил жильцов барака попытками выучиться играть. Учил он одну и ту же музыкальную пьесу «Караван», кажется, Дюка Эллингтона. Колька рассказывал мне о своей поездке в Москву на фестиваль, Колька побывал вместе с Юджином на «джем-сешенн», как он говорил, в Таллине. Я читал книги и знал о существовании других стран и городов. Однако книги были отдельно, а Салтовка отдельно. В лице Кольки я первый раз встретил человека моего возраста, который побывал за пределами Харькова и свидетельствовал: там есть интересная жизнь! Таскаться с Колькой за Юджином в центре города мне не понравилось. Мы были на положении малолеток, которых только и можно было использовать на побегушках. Я съездил пару раз и перестал. Когда пришел мой час, в 1964-м я познакомился с Линой и стал жить неожиданно для себя в самом-самом центре, где не жил никто, на площади Тевелева. Позже я встретил Кольку (пути наши разошлись), и он мне очень позавидовал. Даже почернел от зависти: «Ты теперь центральной чувак! Завидую!»

У Кольки Ковалева были стремления к лучшей жизни, чем та, которую давала наша Салтовка. Стремиться к ней он физически начал раньше меня. Я мирно читал книги и пытался грабить окраинные магазинчики, учился, фантазировал, что стану знаменитым бандитом. А Колька уже заводил знакомства. Он знал Юджина, еще нескольких музыкантов, отрывную девочку Людку Шепеленко (я так и не встретил эту знаменитость), он принадлежал каким-то

боком к организации «Голубая лошадь»! И это была правда, поскольку Колька Ковалев говорил мне о «Голубой лошади» задолго до того, как подобная взрыву бомбы статья о ней появилась в «Комсомольской правде». («Голубая лошадь», о читатель, первая в СССР организация стиляжа, этаких советских битников, была «разоблачена» в 1957 году!)

Колька ходил в бежевом альпийском пальто, произведенном в Австрии, пальто было с капюшоном. Оно, увы, и добыто было неновым, в Москве, на фестивале, и неуклонно старилось. В стремлении к лучшей жизни мы с Колькой купили желтого обивочного материала, я сделал замеры Колькиного пальто, перенес их на бумагу (я всегда был силен в геометрии и лет в 10–11 зарабатывал рубли, расчерчивая нашим соседкам-домохозяйкам выкройку), и по полученным выкройкам тетя Маша из Колькиного барака сшила нам две куртки с капюшонами. В этих куртках мы и ходили желтыми птицами по поселку. Еще из твердейшей стали один наш пацан изготовил нам четыре подковы на туфли. Пацан сломал несколько победитовых сверл на своем заводе, прежде чем высверлил двенадцать дыр для шурупов. Привинтив подковы к туфлям, мы с Колькой ходили, волоча ноги и высекая снопы искр. Если бы мы не были своими, нас за желтые куртки били бы на Салтовке каждый день, такой там был темный и непрогрессивный народ. Там ходили в сапогах, в серых тужурках, называемых москвичками, и в кепках. Какие уж там желтые куртки!

Мать моя Кольку любила. Колька и ругался меньше других ребят, и музыкой все-таки занимался. У него был магнитофон с бобинами, пленка постоянно рвалась, в их каморке пахло ацетоном. Колька ненавидел блатных и не любил шпану. Он никогда не мечтал, как я, стать большим бандитом, его моделью был Юджин, игравший на саксофоне в составе джазового оркестра. Потому мать моя, жаловавшаяся, что «улица уводит» у нее сына, считала Кольку «персоной грата».

Почувствовав себя юными мужчинами (Колька всю брелся и пытался отращивать бороду уже в пятнадцать!), мы стремились сойтись где-нибудь с прекрасным полом. В школе я, конечно, сходил с ними, но школьные девочки были как сестры, до того много времени мы проводили вместе, что пол их стирался. На танцах были другие девочки, с вызывающе накрашенными губами, в праздничных нарядах, пахнущие духами и пудрой. Там встречались умудренные жизнью какие-нибудь двадцатипятилетние «вампы» – штукатурищицы или фрезеровщицы из общежитий (на Салтовке было много женских общежитий). Ну и что, что это были простые девки... Искусство обольщения и искусство любви штукатурищицы и фрезеровщицы знали не хуже Марлен Дитрих. И глаза у них бывали огромными, зелеными или жутко-черными. И им нравились молоденькие мальчики. Но эти мальчики их боялись. Колька ходил на танцы, но не очень охотно. И не очень-то танцевал. Больше пил с нами в туалете «Станхановского». В сущности, как большинство подростков, мы мучились без девушек. Постоянная подружка редко у кого была, хотя влюблялись часто. Я так и не могу вспомнить постоянную или даже сколько-нибудь случайную подружку Кольки. Он уволился с очередного завода, и перерыв до поступления на следующий затянулся. Мать ругала его «нахлебником». Малолетки и юноши, мы все тогда так жили. Вокруг была тьма-тьмушая больших заводов. Одни заводские заборы окружали Салтовку. «Серп и Молот», «Турбинный», «Поршень», «Велосипедный», «Электросталь», а на выезде из Салтовки рельсы, повернув влево, вели желающего к огромному Тракторному заводу: ХТЗ. Человек, стремящийся к лучшей жизни, в этой вселенной был обречен. Осужден сдаться и совершать производственные операции в глубине заводских корпусов. Все мы противились. Но я все же проработал на «Серпе и Молоте» более полутора лет, в 1963–1964 годах. На «Велосипедном» я проработал неделю, на «Турбинном» – два дня. В октябре 1964 года я все же сбежал. Стал книгоношей в книжном магазине на Сумской улице. Замерзший, торговал книгами с лотков. Но все равно это была небольшая победа. Заводам не удалось сожрать меня с потрохами. Колька устроился на завод электробритв. Туда, где умер позднее в 1968 году мой школьный приятель Виктор Проуторов.

С удовольствием привожу здесь стихотворение, написанное мной много позже в Нью-Йорке, оно о том мире, глазами подростка, моими или Колькиными. О том мире заводов, куда нас загоняли.

...И мальчик работал в тени небосводов
Внутри безобразных железных заводов
И пламенем красным, зеленым и грубым
Дышали заводов железные зубы.
И ветер, и дождь за пределами цеха
Не были для мальчика грязь и помеха
А грязью был цех. Целовала природа
Когда умудрялся избегнуть народа
И выйти из скопища грубых товарищей
От адовых топок – гудящих пожарищей
Во двор, в снеготу, и черноту, в сырость мира
Стоять и молчать, тихо думать, что «сыро...
А если у ниток содрать кожуру
То видно, как жилы пронзают кору
И крыса, и суслик ведь роют нору...
И ели так жалко, что рубят в бору...»
Швыряли товарищи злобные шутки
Металлы гремели там круглые сутки
И таял там снег. И воняло там Гадом...
Народом. Заводом... Загубленным садом...

Чувствуется, что это стихи бывшего сталевара.

Постепенно я терял Кольку из виду. Встречались мы все реже. В 1963–1964-м, когда я работал в литейном цехе «Серпа и Молота», в три смены, мне вообще было трудно поддерживать какие-либо стабильные отношения с кем-либо. С третьей смены, если была зима, я шел домой спать; если было лето – отправлялся напрямиком на пляж. Вторая смена лишала меня начисто самого prime time для общения – вечера. Ну а первая смена бывала только одну неделю из трех. Я держался тех, с кем работал: Борьки Чурилова, Юрки Жирного, Женьки – мои ребята из бригады, вместе мы и гуляли, и ходили каждую субботу в кабак, выпивали свои 800 граммов коньяку. Зарабатывали мы очень хорошо. Один раз я получил 320 рублей зарплаты! Я коротко стригся, был здоровым и мускулистым, сшил себе один, два, три... в результате оказалось шесть костюмов. Колька иногда заходил к нам домой. Тем дело и ограничивалось.

Году в 1965-м или 1966-м он появился, чтобы пригласить меня на свадьбу. Будущую жену звали Лида, она была блондинка, старше его, и работала косметичкой. В «Дневнике неудачника» у меня есть такие строки:

Эди – как называл меня Кадик. Помнишь Кадика, Эдвард? Эдик и Кадик, Кадик и Эдик – водой не разольешь. Почтальоншин сын Кадик (Колька) учился играть на саксофоне. Парень он был неплохой, с талантами, Лидка его сгубила. Первая попавшаяся пизда. Старше его. Он от нее в снег плакать выбегал. Во время пьяной свадьбы.

Мы купили букет цветов, может быть, был и подарок, скорее всего, подарок был, Анна была сторонником исполнения обычаев и предрассудков, Анна надела платье в темных цветах, «каблуки» (иными словами, туфли на острых каблуках), и мы отправились. Я был не просто гость, но свидетель. Жена его, Лидия, я ее смутно помню, оказалась именно «вампом»

из общежития, девушкой типа, который в изобилии встречался в «Стахановском» на танцах. Свадьба в России всегда вещь крайне двусмысленная, так как (обычно это невеста) невеста не отказывает себе в удовольствии пригласить по меньшей мере одного человека из прошлого. Видимо, считая, что имеет на это право, так как прощается именно с прошлым. По мере того как гости, невеста и жених напиваются, прошлое так перемешивается с настоящим и будущим, что времена приходится насильственно разъединять. У друга моего отрочества Кольки Ковалева была именно такая свадьба. Невеста со сбившейся фатой, пахучие салаты, человек из прошлого... Анна и я, бегущие по снегу за плачущим Колькой Ковалевым... (Ну что там ему было, 21 или 22 года.) Мы вернули его, успокоили, напоили еще сильнее. Подошла обеспокоенная, взрослая Лидия. У нее был виден живот. Мы ехали в такси и обсуждали случившееся. Я считал, что случилась трагедия, катастрофа, что, не успев начаться, семейная жизнь Кольки рухнула. Куда более умудренная жизнью Анна сказала, что отоспятся – и будет все в порядке... Я не согласился... Из всхлипываний товарища моего я понял, что люди из прошлого Лидии беспокоят его не в первый раз.

Прошли годы. В декабре 1989-го я провел у родителей в Харькове шесть дней. Мы с матерью сидели на чистой кухне – за окном зима, – и я задавал вопросы, а она отвечала. Кто умер, кто жив. Оказалось, покончил с собой мой школьный товарищ Виктор Головашов. Он окончил танковое училище и дослужился до майора, был уволен, сильно пил, работал рабочим на Тракторном заводе. Покончил с собой из-за жены, Людка его («...помнишь, сын, хромая такая, с палочкой ходила, рядом жила») всю жизнь его мучила, он ее с солдатами заставлял, когда в гарнизоне в Средней Азии служил. «Б... оказалась», – осуществила мать над собой цензуру. И вздохнула.

– Слушай, а Кадик живет со своей? У них с самого начала все пошло плохо, плакал он на свадьбе...

– Да давным-давно развелись. Он с матерью живет, недалеко тут от нас, внука воспитывает.

– Внука?

– Ну да... Ты уезжал, у него уж сыну было лет десять. У сына тоже не заладилось с женой, внук хороший, Димочка, больше с Колькой и с прабабушкой живет. Колька к нам часто заходит. Вот, правда, что-то давно не был. Как раз бутылку оставил водки. «Пусть, говорит, стоит, Эдик приедет, выпьем».

– А что он делает, где работает? Он же на саксофоне играть учился, музыкантом стать хотел.

– Реставратором работает, церкви реставрирует, – сказала мать. Подумала. – Во всяком случае, так говорит.

– Думаю, врет, – сказал отец, входя на кухню. – Баланс подводите? Думаю, врет для солидности. Нам. Так как ты у нас знаменитым стал. Мы его тут в нашем районе случайно летом видели. Идет, ведра с краской несет, и рядом такая же рабочая братия тащит материалы. А какой-то чисто одетый на них прикрикивал. Разнорабочим, думаю, трудится. Он нас увидел. Но отвернулся немедленно. Ну, мы с матерью не стали его окликать, не хотели в краску вгонять.

На следующий день было воскресенье. Я попросил мать позвонить Кольке. Я ни с кем не повиделся, не хотел, но вот с ним решил увидеться. Что из этого вышло, о том есть сцена в книге «Иностранец в смутное время». Вышло, что к телефону подошла его мать, почтальонша: она сказала, что Колька умер, погиб, упал с лесов. Случилось это 9 декабря 1989 года, именно в день, когда я прилетел в Шереметьево, в Москву, после пятнадцати лет отсутствия в России.

Мать Кольки считала, что его столкнули с лесов. Там работали и зэки, кому-то он чем-то досадил, и вот отомстили.

Моя мать была в ужасе. И терзала себя за то, что отказала Кольке в глотке водки:

– Он бутылку принес, а я его коньяком угостила, у нас немножко оставалось. Бутылку «Пшеничной», он сказал, «тетя Рая, выпьем, когда Эдик придет. Вы ее в шкаф поставьте». Я поставила. А когда уходил, уже в дверях говорит: «Тетя Рая, Раиса Федоровна, выпить еще хочется, налейте мне сто грамм, а бутылку я другую куплю». Я ему отказала, сказала: «Хватит тебе, Николай». Он и ушел, смущенный. Надо было налить ему сто грамм, но кто же знал, что это его последний был к нам приход.

Грустная судьба. Теоретически Колька мог бы стать Джоном Ленноном каким-нибудь. Он знал всю музыку того времени. Рассказывал мне об Элвисе Пресли, Гленне Миллере. А получилось, что лысый, бородатый чернорабочий упал с лесов.

«Радость-страдание – одно...»

Летом 1971 года, влюбленный в Елену Шапову, счастливый, я написал поэмы «Русское» и «Золотой век». «Золотой век» назван в издании «Ардиса» «идиллией», что как нельзя более соответствует моему тогдашнему состоянию. Персонажи идиллии – мои друзья и близкие люди тех лет. Многие уже умерли. Умерли Сапгир, Холин, Губанов, Гера Туревич, Иосиф Бродский, Цыферов (раньше всех, чуть ли не в 1972 году), Василий Ситников (пару лет назад в Америке, всеми забытый). Умер Игорь Ворошилов. И умерла Анна Рубинштейн, моя первая жена. Вот как, влюбленный в новую, другую, я пишу о ней в «Золотом веке», добрый и к ней, потому что мне было тогда хорошо:

Анна Рубинштейн сидела на садовой скамейке, толстая, красивая и веселая. По обе стороны ее сидели два юноши совсем незрелого вида. У них были рубашечки в полоску. Волосы у них блестели. Брюки широко расходились в стороны. Оба не сводили с нее глаз.

Это ретроспектива в прошлое; может быть, это я сам и Толя Шулик в Харькове сидим с нею в парке Шевченко. На самом деле «красивая и веселая» многие годы провела в психиатрических клиниках. С 18-летнего возраста она получила инвалидность «по шизе», как она говорила, ученые же доктора называли ее недуг «маниакально-депрессивный психоз, частичная шизофрения». Диагноз, я полагаю, абсолютно неверен, потому что тот период, который мы с ней прожили с 1965 по 1970 год, был одним ровным, вполне веселым, хотя и бедным, циклом, и только осенью 1970 года она вдруг сдала. Однажды, сидя в «нашей» с нею комнате, на Красных воротах, в старом доме рядом со сталинской высоткой (по совпадению я поселился там в 1994 году в мастерской Кати Леонович, поселился ненадолго опять с Наташей Медведевой и тоже накануне конца, разрыва). Сидя за столом вечером, мы поужинали. Анна вдруг свистящим шепотом сказала, глядя на меня с вызовом: «Я знаю, ты хочешь меня убить!» – «Ты что, Анна, ты что говоришь такое!» – озлился я, но, всмотревшись в ее фиалковые глаза, остановился. Глаза были абсолютно безумны.

Шесть лет она была мне подругой, женой, «партнером по бизнесу выживания», человечеством, духовником, недотепой, неорганизованным элементом, чтобы воспитывать. Все шесть лет я одновременно и гордился ею, и стеснялся ее... Гордился, потому что седая, крупная, взрослая, она сообщала серьезность моему существованию. Я был с виду совсем мальчишкой, соплей зеленой, казалось, меня можно было переломить об колено. Когда мы познакомились, мне был 21, а ей 27. У моих сверстников если и были подружки, то глупые девочки, их сверстницы, молчаливо глядевшие открывши рот на своих спутников жизни – поэтов, художников – с обожанием. Экзотическая личность, Анна могла высмеять любого зарвавшегося «гения», язык у нее был острый, ярко-фиолетовые глаза беспощадно видели насквозь. Приглашая меня, некоторые мои знакомые просили: «Только приходи, пожалуйста, без Анны... Ты понимаешь, она, ну, с ней тяжело... Она людям хамит; пообщавшись с ней, человек ходит как оплеванный». В трамвае, бегающем от Преображенки на Открытое шоссе, хмурые паханы вставали, уступая ей место. Чем более, как говорят, «морда просила кирпича» у такого бандюги, с тем большим уважением предоставлялось место. Кого они в ней видели? Слегка курносый нос, эти глаза, большой зад – кого они в ней видели? Праматерь Еву? На еврейку она редко бывала похожа. Обычно становилась похожа, попадая в психбольницу.

Я ходил с нею повсюду вместе очень много, так много и часто, как ни с одной из своих жен. Может быть, потому что, как я уже перечислил, была она мне и подругой, и партнером по бизнесу выживания, и многое другое.

Начнем с партнера по бизнесу выживания. Вот как это выглядело. В каком-то окраинном магазине Анна нашла очень толстый, набивной, цветами, чешский ситец. Мы стали закупать его небольшими партиями, и я изготавливал из него простые квадратные сумки с двумя ручками. В ручки вставлялась внутрь для крепости и жесткости тесьма. Нашив десяток сумок на подольской верной зеленой машинке, мы с Анной отправлялись в ГУМ, я со всей партией оставался на улице, Анна же, взяв пару изделий, шла продавать их. Мою продукцию охотно брали. Модель мы скопировали с попавшей Анне в руки, бог весть как, иностранной сумки. Расходы на одно изделие составляли 1 рубль 15 копеек, а продавали мы его за три. К сожалению, деньги у нас не держались, но мы были самостоятельной единицей и оплачивали свои временные прибежища в коммуналках. Обычно 30 рублей в месяц. Прибежища менялись часто: с Открытого шоссе нас согнал КГБ. Соседи, медсестра Нина и инженер Дима, проведя бессонную ночь, все же наутро поведали нам, что приходили двое в штатском, просили Нину и Диму вынимать из общего мусорного ведра все мои бумаги и копирку и вообще докладывать обо мне. «Вы стоите на очереди на квартиру у вас на заводе, между прочим? – спросили штатские. – В наших силах убыстрить вашу очередь или замедлить ее». «Вы хорошие люди, – сказали нам Нина и Дима, – мы решили вам признаться». В 15 минут тогда «хорошие люди» сложили свои вещи, взяли две машинки, Анна поймала такси, и мы отбыли. Несколько дней провели у кого-то (обычно это были: Кушер, Лозин или Алейников), пока Анна не нашла на Банном переулке комнату. Она была в этом незаменима: умела подойти к «хозяйкам» и «хозяевам», никому в голову не могло прийти, что у седой глазастой женщины юный муж и безбашенные, как сейчас говорят, друзья. На Банном же помещалась прямо на улице квартирная стихийная биржа. И до сих пор, кажется, существует. Мои родители с 1968 года стали высылать мне 25 рублей в месяц на Главпочтамт до востребования. На меня сейчас вдруг нахлынула волна теплой благодарности к родителям, не разделявшим никогда ни моих культурных убеждений, ни тем паче политических, вообще ахавшим от ужаса перед моей жизнью во все времена. Эти 25 рублей ой как пригождались! Но мы с Анной не были беспомощными тюхами и, если бы ставили бытовые цели, я думаю, преуспели бы быстрее и лучше других. Я шил, научился этому сам, мог сшить и пиджак, и брюки, мог бы стать Славой Зайцевым... (А что? Легко!) – вкус у меня был, умение было. Желания не было посвящать этому жизнь. Я ограничивался минимальным заработком, дабы писать стихи. Тогда я писал стихи. Анна тоже была девушка хоть и задумчивая и глубокая, как бездна, но пропадать мы не умели.

Характерный эпизод. Утро 22 февраля 1968 года. Мой день рождения. Просыпаемся в комнате – на Казарменном переулке. В окне: срубы, бревна, зима, Россия XVI века в окне. Встали: денег нет. «Твой день рождения, Эд! Что делать будем?» – «Да и черт с ним! – сказал я. – Кто-нибудь из ребят придет, что-нибудь принесет». – «А я хотела, чтоб мы вместе отпраздновали, куда-нибудь пошли... слушай, давай я займу у Людмилы (наша квартирная хозяйка. Трое детей, муж алкоголик – подсобный рабочий продовольственного магазина, бывший директор техникума. Занимал комнату против нашей), пойдём в ЦУМ, может, что выбросили...»

Заняли 15 рублей. Пошли. В ЦУМе «выбросили» красивые варежки. Отстояли очередь, взяли по две пары по 3 рубля. Пошли в ГУМ, продали по 8 рублей. Вернулись, опять отстояли в очереди, опять купили четыре пары. К темноте у нас было в кармане около 50 рублей. Отделив пятнадцать для Людмилы плюс пару варежек ей в подарок, пошли в ресторан. Впоследствии Анна достигла куда большего в области спекуляции, наивысшим ее достижением была покупка и продажа вместе с ее подружкой Аллой Воробьевской шуб. Да-да. Она стала спекулировать шубами. Правда, деньги она умудрялась прогуливать.

Выглядели мы тогда так. Анна: пальто цвета темной вишни, буклированное, на ватине, со светлым меховым воротником. Совместная работа Стеллы Соколовской, племянницы Анны, и моя. На голове – капор, сшитый из теплого шарфа: голубые, розовые, фиолетовые

полосы. На ногах меховые коричневые сапоги, щеки цвета красного кирпича. Я, ее спутник: пальто ратиновое черное, однобортное, из того же ратина аэродромная кепка на голове, сапоги американские армейские – остаток былой харьковской роскоши. Такая вот пара завоевателей Москвы.

«Анютка», «Анютелла» – так она себя называла, еще «блудная дочь еврейского народа». Я полагаю, я был для нее спасением, стабилизирующим фактором, дисциплинирующей силой, Мужчиной, сильным мужем. Как утверждают все знавшие ее и меня современники – она меня боялась. Ну, как боялась – я вносил в ее жизнь строй, смысл, был ее личным вождем. Создавал порядок в ее жизни. Сама-то она была без руля и ветрил. Потому она боялась потерять этот смысл и строй. Я на нее прикрикивал.

Жизнь ее вкратце такова. Она из умной еврейской семьи. Отец Моисей – директор НИИ, правда, рано умер; тетка – профессорша, заправляла химией на Украине и была репрессирована. Брат отца (его Анна ненавидела) – академик. Мать Циля Яковлевна (от нее у Анны наследственная «шиза») работала когда-то в научной библиотеке. Когда мы познакомились и я стал жить с Анной в соседней комнате, Циля Яковлевна запомнилась мне сидящей у зеркала с распущенными снежно-белыми волосами, курящей папиросу. На выпускном вечере в гимназии Циля Яковлевна декламировала стихотворение «Девушка пела в церковном хоре...». Прожив 57 лет, я оцениваю это стихотворение Блока как очень страшное. Девушка пела о всех, ушедших в море, пела, что все вернутся, все будет хорошо. Все верили. Но Блок заканчивает:

И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, – плакал ребенок
О том, что никто не придет назад.

Страшно. Никто. На самом деле не придет.

В ее жизни была уже артистическая компания и до меня. Ей тогда было 17–18 лет. Ее муж (честно говоря, я даже не уверен, что официально они были в браке, то есть расписывались ли) Гастон ввел ее в среду своих друзей. Помимо Брусиловского, туда входил поэт Бурич (переводчик польских поэтов и поэт, женатый на поэтессе Музе Павловой), довольно известный кинокритик Черненко, были еще, очевидно, люди, но других я не запомнил. Когда у Анны впервые обнаружилась «шиза», во время брака или романа с Гастоном или после, мне также неизвестно. Известно, что с 18 лет она периодически получала пенсию по инвалидности. Я видел ее фотографии в 18 лет, где она неземная девушка, куда там юной Элизабет Тейлор! И вот из такой неземной она к 1971 году превратилась в исцарапанную, деформированную, толстую, безумную тетку! Где-то после 18 (до или после ухода Гастона, до начала болезни или после, неизвестно) ее изнасиловала группа людей. Не знаю подробностей, мне известна лишь одна фамилия: Шевченко. Люди эти были арестованы и осуждены. Опять-таки, степень влияния этой трагедии на жизнь и психику Анны мне не удалось установить. Она всего несколько раз упоминала об этой истории, не проявляя при этом ни истеричности, ни испуга.

Мы познакомились в октябре 1961 года в магазине «Поэзия», где она работала продавщицей. Всего продавщиц в «Поэзии» было четверо: Валя, Света, Люда и Анна. Я тогда уволился с завода «Серп и Молот», где проработал сталеваром год и восемь месяцев. Рабочий такой парень: мышцы, коротко стрижен, хаки-штаны, очков не носил. Привел меня в «Поэзию» коллега-сталевар Борис Чурилов. Книголюб, как тогда говорили. То есть Борис покупал книги, монографии по искусству и стихи. Потому он знал и других книголюбов и продавцов. Эти все истории давно минувших дней довольно пространно описаны в «австро-венгерском», как я его называл, романе «Молодой негодяй». Романом это произведение можно назвать лишь условно, все герои невымышленные, скорее это развернутое воспоминание об эпохе застоя в широкolistвенном Харькове. Записал я «Молодого негодяя» уже в Париже.

По-моему, когда мы познакомились, Анна делила со своей подругой Викой Кулигиной одного мужика на двоих: бывшего мужа Вики, Толика. (Русская эта привычка называть взрослых дядь Толиками, Сашками, Кольками – не от инфантильности ли моего народа происходит? Правда, инфантильность соединяется со свирепостью. Какой-нибудь Толик может отправить вас на тот свет по пьяни, а утром чистосердечно не поймет, за что. Дети-то жестоки.) Толик был книголюб, книгочей и пьяница. Он работал в котельной. На кочегара был не похож, носил очки в черной оправе, зеленое импортное шерстяное пальто. Был еще мальчишка, тоже Толик, Шулик, по прозвищу Беспредметник. Шулик стал абстракционистом, скорее из любви к необычному, к современности, к экзотике. Светлый блондин с седым клоком, добрый пацан (ему было вообще девятнадцать лет), Толик жил в одной квартире с матерью и старшим братом, которого презрительно называл «козлом». Баловень семьи, Беспредметник владел отдельной комнатой, где врубал на полную мощность «Битлз» или Адамо и позировал перед мольбертом с кистью в руках, одновременно наблюдая себя в большое зеркало. Анна лишила Шулика девственности.

Я впервые, как бы это сказать, чтобы не обидеть ее, лежащую на старом кладбище в центре Харькова, вход с улицы Пушкинской, 102, я впервые вступил с ней в интимную близость 5 января 1965 года. (Много лет спустя, в Америке, я обнаружил, что это день моих именин, по католическим святцам, ибо имени Эдуард в православных нет.) Имея с ней интимную близость, я решил, что ни с кем другим она иметь интимную близость не должна. Потому я стал обременять Анну собой. Я сидел мрачный на сборищах поэтов и художников в ее комнате, напивался и молчал. Дело усугублялось еще тем, что сказать мне было нечего, я не знал книг, о которых они говорили, не видел холстов. Интеллектуальный мой багаж был более чем скромным. К концу вечера я иногда скандалил, выгонял или пытался выгнать тех парней, к которым ее ревновал. Она злилась, называла меня пьяным «хазером», «хазерюкой». Выгоняла меня, я не уходил. Прибегала на шум Циля Яковлевна, пыталась всех примирить. В конце концов я отдалил всех «женихов» и воцарился в доме. Некоторое время я делал вид, что ухожу каждую ночь, и мы закрывали воображаемые двери... «Спокойной ночи, Эд!» – «Спокойной ночи, Анна!» И обратно в комнату. Обман облегчался тем, что большая, метров тридцати комната Циля Яковлевны и маленькая, двенадцати или пятнадцати метров, «наша» имели обе выходы в коридор и одновременно сообщались дверью друг с другом. Сама квартира находилась в глубине старого дома. Нужно было подняться вверх по лестнице, войдя с Бурсацкого спуска, пройти по «прямой кишке» – по обе стороны ее громоздились кухонные столы, в кишку выходили двери многочисленных комнат, – и перед посетителем вырастала в конце кишки дверь. На двери были звонки, и за дверью жили три семьи счастливцев; Рубинштейны, мать и дочь, среди них. Счастливицы, потому что у них была своя вместительная кухня и как-никак не два десятка соседей, а лишь двое. К лету Циля Яковлевна все же прекратила «эту комедию» и однажды, выйдя в коридор во время фальшивого расставания, сказала: «Анна, Эдуард, прекратите эту комедию, я знаю, что Эдуард ночует здесь. Пусть живет открыто».

Думаю, что безошибочно Анна хотела семью, пусть и такую ненормальную, какая получилась у нас. Женщине нужен мужчина, чтобы ее не кидало по жизни, как щепку. Особенно если ты «шиза». Хотя ты и производишь впечатление на жиганов подворотен своей крутостью, и тебя уже давно изнасиловали, и сама ты дефлорировала десяток юнцов, и накрашена ты так, что бабки у ломбарда в гневе плюются, руководитель жизни нужен. Я думаю, она гордилась, что муж у нее молодой парень. «Муж», ну, мы так никогда и не расписались в соответствующем учреждении, но кем я еще ей был? Шесть лет жизни вместе.

«Ля богема!» – восклицала порой Анна в упоении. Жизнь, которую мы вели, ей нравилась, духовно подходила. Говорить о том, что такая жизнь привела ее к самоубийству, неразумно. Вся ее жизнь привела ее к самоубийству. Вся ее жизнь была «Ля богема!».

Я ушел из ее жизни в 1971 году, но «Ля богема» продолжалась, хотя уже и не в столь блистательном варианте. Благодаря пришедшему со мной в клинику к ней на свидание старику Кропивницкому она стала рисовать. Яркие, чудовищные картины, не то безобразие пятен, не ту какофонию цветов, какие создают сумасшедшие, но яркие портреты полубезумия. Ее картинку покупали, у нее появился вдруг в жизни некий армянин. С армянином она ездила в Ереван, жила там, и в результате я позднее видел слайды ее картинок в музее современного искусства в Ереване. Последний период ее жизни наблюдала только моя мать. На улице Маршала Рыбалко (дом на Тевелева снесли, и ей дали квартиру) Анна, насколько я могу понять, устроила притон. Приходили друзья ее подружки Вики Кулигиной, бандиты, выпивали, кричали, ругались. Улица Маршала Рыбалко еще большая дыра в хаос и окраина Харькова, чем та окраина, где живут мои родители. Вот в этой дыре и обреталась последние годы подруга дней моих суровых, половину времени она, впрочем, проводила в психиатрической больнице. Толстая, страшная, разбухшая, однажды осенним днем 1990 года (даже точная дата неизвестна, в октябре или ноябре) Анна пришла домой на Маршала Рыбалко, отпросилась из психбольницы на выходные помыться. Помылась, накрасилась, оделась, куда-то собралась, то ли обратно в психбольницу, то ли в гости (она ходила и к моим родителям, хотя в конце концов стала невыносимой), и вдруг решила. И сколько же все это будет продолжаться? Вика, такая же старая и седая, пьяные бандиты-юнцы, грязь, Харьков и жизнь вообще. Анна поняла, что дико устала. Что хочет вечного покоя. Она сняла кожаный ремень со своей сумки, сделала петлю, попробовала, хорошо ли затягивается, приладила ремень к крюку в коридоре, стала на стул и прыгнула. Выдержал крюк, и ремень выдержал ее несчастную тушу.

Возможно, она провисела бы годы. Но Анна не выключила телевизор, и соседи постоянно слышали звук. Еще она не выключила свет в коридоре, и в дырку от глазка (выбили гости-бандиты?) было видно – горит свет. Соседи в конце концов застучали в дверь. Никто не отзывался. У одного из соседей оказался той же системы ключ. Дверь, повозившись, открыли. Она висела тяжело, накрашенная, как обычно: и веки, и ресницы, и под глазами тени. Вызвали сестру из Киева, похоронили Анну на старом кладбище, рядом с отцом, там у них было место. Квартиру обменяли.

Мать моя, будучи женщиной сердобольной, все 19 лет после того, как ее сын расстался с Анной, продолжала поддерживать с ней отношения: кормила ее, шила ей юбки, навещала ее в психиатрических больницах. Упорядоченная, чистая, хорошо организованная, энергичная хозяйка, мать моя широко открытыми глазами смотрела на неупорядоченное, толстое, накрашенное, седое чудовище, бывшее спутником жизни ее сына. На день рождения Анны мать поехала к ней на Маршала Рыбалко с тортом. Чудовище стало отламывать куски торта руками и тут же поедать его. Свыкшись с моей мамой, чудовище стало хамить, в конце концов лазить по ящикам, едва мать выходила на кухню, искать в ящиках мой адрес, еще она звонила матери ночью и говорила ей шизофренические глупости вперемежку с гадостями. «Хэлло, Долли!» – бубнило чудовище в трубку. «Это я – Долли? – жаловалась мне мать. – Я брала ее под расписку в больнице и с ней в парке гуляла».

Адрес на рю де Тюренн она все же нашла. И я получил от нее пять или шесть пронзительных по своей сумасшедшей пронизательности, невероятной пронизательности писем. К сожалению, письма затерялись в странствиях. Она писала среди прочего:

Я представляю, как ты идешь по улице Данте, молодой и красивый,
о Эдвард, мой Дориан Грей!

Дориан Грей – конечно, лестное сравнение, но откуда она с улицы Маршала Рыбалко могла знать, что по улице Данте я неизбежно проходил почти ежедневно, так как из Марэ, из всех трех квартир, какие я там снимал, это был самый короткий путь на левый берег по мосту Мэри или по мосту Арколь, мимо Нотр-Дама – там, образуя угол с набережной, и начина-

лась рю Данте. Если я прогуливался или шел в одно из двух своих издательств – «Рамзэй» или «Альбан-Мишель» (они попеременно каждый год производили мои книги), я не мог миновать улицы Данте. Вполне возможно, она запомнила, был такой фильм «Убийство на улице Данте», но она знала о существовании и бульвара Монпарнас, и Монмартра, и Елисейских Полей, и более мелких улочек, без сомнения, она была внимательной пожирательницей мифологии Парижа, она читала хорошие книги, смотрела монографии.

Рю Данте выходила на бульвар Сен-Жермен. По ее правой стороне располагались книжные магазины. В одном из них работал мой друг Леон. Я часто останавливался с ним поболтать. Почему я всегда устремлялся на левый берег? На левом историческом сердце Парижа, Латинский квартал, живые день и ночь улочки. Ну и мои издательства. Пронзительный мозг седого чудовища учуял меня на улице Данте.

Теперь о том, как мы расстались. Осенью 1970-го она заболела. Ни с того ни с сего, на ровном месте. Мы как раз стали жить лучше, провели целое лето в Коктебеле, три месяца жарились на солнце, купались, Анна была черна от загара и красива. Хотя уже и тучная была дама. И вот, вернувшись в Москву, она нашла на бирже на Банном комнату в выселенном доме, на втором этаже на Елизаветинской улице. Нам сдал комнату хитрый слесарь Пестряков. Это было где-то в переулках рядом с парком у Дома Советской армии. Сейчас тех кварталов нет и в помине, их снесли, освобождая место олимпийским постройкам. Собственно, место уже было тогда освобождено. Во всем доме была, кроме нас, только одна живая душа – бабка Софья. Время от времени она примеряла свой погребальный наряд: платье и туфли – и в таком виде выходила в коридор показаться нам. Под окном росла чахлая яблоня с отличными большими яблоками. Я срезал их из окна. Слесарь Пестряков привез от сестры кровать. Мы стали жить. Чтобы дойти до лестницы, поднимающейся на второй этаж, нужно было перебраться в подъезде через глубокую лужу. Мы провели в комнате на Елизаветинской недолго, появился однажды управдом, наорал на нас, пригрозил милицией, наорал на слесаря Пестрякова, пришлось собирать вещи. Я догадываюсь, что эта квартира надломила мою подругу. После коктебельских холмов, скворцов-хулиганов, склевывавших вишни, светского общества в доме Марьи Николаевны Изергиной, старой петербуржанки, певицы, после знойных дней на пляже у писательского дома или в потрескавшихся горах – вдруг рваные обои, запах мусора и свалки, привидение бабки Софьи... Мне было 27 лет, Анне уже 33, я еще не догадывался о своем железном душевном здоровье, а у нее душевного здоровья было немного. Хватило на шесть лет жизни со мной. Далее мы перебрались на Лермонтовскую, в дом, где в подвале, по преданию, сделал свою первую ракету конструктор Королев. Но это жилище – хорошая комната в крепком старом доме – Анну уже не спасло. В квартире были еще только две комнаты, населенные – одна положительными соседями (судья по боксу Краевский, 74 года, жена, 38 лет, и дочка, 9 лет), другая отрицательными (она – испитая молодуха лет тридцати, он – тихий слесарь-сантехник; еще приходил ночевать, вернее, спать днем вежливый брат молодухи – вор-карманник по профессии). Все это уже, однако, не имело никакого влияния на здоровье Анны. Она стала падать на улицах, и ее приводили чужие добрые люди. Затем последовала знаменитая фраза о том, что я хочу ее убить. Затем лечение у волшебного доктора – новым волшебным лекарством. Доктора предоставил Эрнст Неизвестный. Результат: нулевой. В конце концов, весной 1971 года, я сделал решительный шаг, совершил радикальный поступок – я отправил ее на Балтийское побережье, в семью Дагмары, это была латышка, любовница Бачурина, молодая изломанная девка. Я заплатил за несколько месяцев за комнату для Анны и некую сумму за ее содержание, то есть питание, – латыши были в этом смысле легки в обращении: платишь – живешь. Сделал это я, насмотревшись фотографий дома Дагмары, это была целая вилла ее отца-художника, матери, кустов роз и других цветов, прибалтийского побережья. Москва ее убивает, думал я, пускай она отойдет там от Москвы. А я отдохну от Анны, поскольку жить с безумной было крайне тяжело.

Затем события развивались следующим образом. 6 июня, в день рождения поэта Пушкина, я был приглашен на день рождения жены поэта Сапгира, Киры Сапгир. Среди приглашенных за столом напротив меня оказалась красавица, модная девочка Елена Щапова. Модной девочке было еще двадцать лет, только 16 дней отделяли ее от 21 года. Окна первого этажа квартиры на улице Чехова открыты, лето, жарко, порывы ветра. Нахальные брызжущие глаза юной девчонки, два передних зуба, хохот, остроумие, алкоголь. Она косилась и стреляла глазами на меня недаром. За пару недель до этого Генрих привез мои стихи к ней на дачу в поселке Томилино, где ее лысый и старый (по моим тогдашним понятиям он был старик, 47 лет!) муж приплясывал у стола, рисуя иллюстрации к детским книжкам. Привез и читал их ей из книжки в картоне, собранной двумя скрепками. Стихи девочку удивили и заинтересовали. Она сама писала странные стихи, когда болела и не ходила по светским сборищам и не ездила в белом «мерседесе» с мужем Витечкой. Вот она и разбрызгивала свои глазки на автора, который оказался загорелым длинноволосым парнем в красной рубашке и белых джинсах. Я влюбился в модную девочку. Через стол от нее доносился ко мне аромат: пахло духами «Кристиан Диор», как нашим ландышем. Мы мало что успели сказать друг другу в тот день. Однако она успела пригласить меня к ней на день рождения 22 июня. «Приходите с Генрюшей», – сказала она. И удалилась в каком-то зачаточном мелком платьице.

На ее дне рождения я так открыл бутылку шампанского, что бутылка упала и перебила целый поднос ее венецианских бокалов, а потом завертелась на полу. А модная девочка только залихватски улыбалась.

Вся эта история, казалось, завершилась трагедией уже глубокой осенью, когда выпал первый снег. Я опять повторил классическую схему поведения самца: вступив с ней в интимную близость (не очень удачную в первый раз, так я ее хотел: когда она мне предстала без одежды, тоненькая и наглая, я впал в идиотский экстаз, как верующий, которому явился его Господь), я решил, что она мне принадлежит. И в тот же вечер убедился, что это не так. Муж ее был в Польше, она привела глубоко ночью к себе домой мужика. Я сидел в подъезде и вполне серьезно собирался ее убить. До сих пор вижу ее (я сидел выше на площадке лестницы) спину в длинной леопардовой, или под леопарда, тонкой шубе, я уже хотел броситься к ней, она открывала дверь, как вдруг услышал, как внизу подымается кто-то. Актер Игорь Кваша, по моему, народный артист, может многое рассказать о той ночи. Я ворвался в квартиру, и мои дикие страсти захлестнули их вялые. Поняв, что я не могу убить ее, я разрезал себе вены у нее на кухне. Крови было неприлично много. Собака ее лизала кровь. Кошка в ужасе убежала.

Потом стало тихо. Мои друзья, доктора, грузины (Олег Чиковани и его приятели), вытащили меня из больницы Склифосовского наутро. Менты не успели в это вмешаться, а то не миновать бы мне психбольницы. Иди объясняй, что ты влюблен до такой степени.

Вернемся к Анне. Уже 6 июня я почувствовал жгучие угрызения совести. Ничего еще не произошло, а угрызения были, потому что я знал, что произойдет. По натуре своей я человек долга, верный человек, и если я связываю себя добровольными узами, невидимыми нитями, то, как правило, не рву их первым. И вот получалось, что я неумолимо ухожу от Анны.

Однако нечто произошло до трагедии с участием актера Кваши. (История при участии актера живописно, правдиво и красиво поведана мною в одной из глав книги «Иностранец в смутное время».) А именно, в сентябре или октябре, я запомнил, когда точно, приехала Анна. Красивая и загорелая. И свежая. И как будто без следа болезни. Я прожил лето в квартире семьи Салнит (Сашка умер, мир его праху. Был здоровый мужик, борец и тренер, глава семьи и отец трех детей) на Большом Гнездиновском переулке. Квартира была из трех комнат, на первом этаже. Ко мне туда приходила соблазнять меня Елена, в длинном шарфе, приходили, закупив в магазине «Армения» рядом гроздь бутылок вина, друзья. Я жил легко, упоенный своей влюбленностью, именно там, в последней слева по коридору квартире, я написал поэмы «Золотой век» и «Русское». По словам Салнита, на месте квартиры помещалась когда-

то редакция газеты «Гудок», в которой работал Юрий Олеша. Так что традиций там в воздухе витало немало. Но вернулись Салниты, их дети, и с квартиры пришлось съехать, освобождая место хозяевам.

И тут мне очень повезло. Володька Иванов, карикатурист «Литературной газеты» (он вскоре умер. В трамвае, отказало сердце. Так и ездил по кругу, пока водитель не догадался, что пассажир мертв), сообщил мне, что его жена работает с некоей Зиной, а Зина хочет сдать свою девятиметровую комнату в коммуналке. Зина живет у мужа, вышла замуж, комната стоит пустая. Когда я приехал на Погодинскую улицу, я понял, насколько судьба хочет, чтоб я и Елена были вместе. Моя желтая комната на Погодинской была в нескольких минутах ходьбы от дома, где жила с мужем Виктором Елена! Моя комната по одну сторону Новодевичьего монастыря, их квартира – по другую!

Когда приехала Анна, я, каюсь, обманул ее. Я сказал, что комнаты у меня нет сейчас, что ночью у знакомых. Мы встретились в комнате нашей общей подруги Аллы Зайцевой, Анна остановилась на время у нее. Последовало поспешное стаскивание одежды, объятия, проникновение, и вот я чувствую, что она делает это иначе и что-то новое такое говорит во время этого, чего не говорила никогда. Я почувствовал, что она была с кем-то и научилась новому, и говорит новое. Нет, я не оправдываю себя *post-mortum*! Я говорю правду, правду и правду! И если до этого я чувствовал себя виновным, и очень, у меня просто все болело оттого, что я лгал моей подруге, то тут я насторожился. Мы сделали любовь еще раз, я без особого удовольствия, ведь уже влюблен был в другую, в модную девочку. И я опять почувствовал ее новый опыт.

Я остался там спать, хотя не собирался. Потом пришла Алла, девочка, похожая на мальчика, серьезная ученая, и женщины отправились в магазин. Чего я и ждал. Я осмотрел чемоданы Анны и среди залежей рисунков обнаружил несколько тетрадей. Я полистал их и нашел взрывы удовольствия по поводу цветов, дома, погоды, побережья, по поводу моря, чаек, солнца, опять цветов, много цветов, больше цветов. И когда уже мне стало надоедать, среди всех цветов я нашел страницы о ее любви и, как бы это мертвую не обидеть, о ее интимной близости со старым художником – отцом Дагмары. Я отложил тетрадь и подумал, что его надо убить. А потом подумал, что нет. А потом хотел даже заплакать от обиды. И наконец вспомнил, что я счастлив и влюблен, как никогда до этого за свои 27 лет не был влюблен.

Я не сказал Анне ничего о ее тетради. Мы договорились, что она поедет в Харьков, поживет с матерью, дом на Тевелева еще стоял крепкой крепостью, а я найду тем временем комнату или даже квартиру, если недорогую, и тогда она приедет. Я наблюдал за ней, строя эти лживые планы, которые не намеревался осуществить. В мои 27 лет (из них шесть я провел с нею) у меня было мало опыта. Неверная женщина вела себя спокойно и не выказывала нервозности. Я не знал, как должны себя вести неверные женщины. Анна уехала, как мне показалось, даже с облегчением. Думаю, она боялась Москвы и ее лишений. Во всяком случае, она довольно спокойно оставалась в Харькове. В начале марта 1972 года туда приехал я и объяснился с ней.

После перерезанных вен, крови той ночи модная девочка задумалась. До этого она не встречала таких людей. И может быть, никогда бы не встретила. В ее мире флирт, романы, постель – все делалось легко, и все были неверны всем. Она собиралась использовать отпуск мужа на все сто: после того как (не очень удачно, признаю) выпалась с молодым поэтом, выпасться с сорокалетним – или сколько там ему было – актером. И не придавала этому значения. И даже не собиралась и отпуск использовать, это я зря, по недомыслию, написал. Она просто следовала своим инстинктам. А тут появился идиот, князь Мышкин какой-то, воспринявший все всерьез, остолоп несветский, Ванька какой-то пещерный со своими страстями. Она думала. Стала присылать мне еду: мясо и фрукты. В двери позвонят, выхожу, никого нет, корзина стоит у порога. Детей она, что ли, нанимала за рубли, чтоб корзинку подставили и наутек?!

Уже в декабре, под густым снегом мы встретились ночью у Новодевичьего монастыря, она гуляла с белым большим пуделем, с дурной собакой, нализовавшейся моей кровью. Встретились и побежали друг к другу сквозь снег. Она не могла устоять, ведь ее никто до этого так, со смертной тоской, не любил. Мы целовались и плакали от радости. Она стала ходить ко мне в желтую комнату на Погодинской, и мы сотрясали бедную кровать мою все с большей страстью. Соседи – бабка, когда-то работавшая в пивной, старая комсомолка – видели ее не раз, считали дочерью генерала и не парой мне, но хитрая бабка хорошо слышала, хотя мы и включали транзистор. Бабка сделала мне комплимент, может быть, один из лучших в моей жизни: «Ты ей не пара, – сказала бабка. – Ты бедный. Я знаю, почему она к тебе ходит... – Бабка хитро прищурилась. – Ей нравится то, что у тебя в штанах!» И бабка захохотала. Как исчадие Ада.

Елене нравилось. Но навсегда свернуть ее с ее пути, от ее кармы мне не удалось. На пять лет удалось. Через пять лет она вернулась в то состояние, от которого я ее отвлек осенью 1971 года. Ныне с высоты своего жизненного опыта, живя уже с пятой женой (считаю только тех, с кем, формально говоря, «жил под одной крышей и имел общее хозяйство»), я твердо знаю: женщины неисправимы. Какими их однажды сделали папа и мама, слив свои сперматозоиды и яйцеклетки вместе (со всеми готовыми уже генами, унаследованными от предков), плюс более или менее безалаберное воспитание первых лет жизни, такими они останутся навсегда. Мощная любовь способна лишь на время остановить выполнение их судьбы.

В июне 1998 года пришла ко мне за партбилетом белокурая крошка – панк-ангел Настенька, шестнадцати лет, малютка, оттопыренная попа, не человек из этого мира, а святая юродивая. Даже буря знаменитая ночью с 20 на 21 июня над Москвой разразилась от этой встречи. Пришла и осталась. Связался черт с младенцем. С декабря того же года живем вместе. Но и она, ей уже восемнадцать, не избежит своей судьбы, я уверен. Я только могу задержать на пути, изменить не могу.

Жестокий, как все друзья, Бачурин (художник, певец, один из моих близких людей тех лет, носившийся со мной как с самородком. Ныне старый и угрюмый, он воображает, что я предал идеалы. Нет, Женя, нет! Просто идеалы мои теперь другие) принес запоздавшую неприятную весть: «Анна-то твоя, больная-больная, а какой разгром в семье Дагмары учинила. Стала ебаться с ее отцом, соблазнила его. Мать Дагмары пыталась повеситься... Ай да Анна Моисеевна!..»

Бачурин принес свою весть в феврале. Очевидно, весть долго добиралась из Прибалтики. Я сел в поезд и поехал в Харьков. Для последнего объяснения. Для начала я нашел и внимательно перечел дневник Анны. 2-го, что ли, или 3 марта ночью я устроил ей допрос с пристрастием, пытку скорее, чем допрос. Мне было очень больно. Это удивительно: будучи в другой любви всем телом и душой, все же испытывать такую боль от ревности и предательства. Одна любовь не залечивает другую. Я кричал, вопил, ругался, я спрашивал ее, почему она меня предала?! Потом я попрощался с ней и уехал в Москву. И целую ночь думал, лежа на голой полке, почему они такие?

Это было первое предательство женщины в моей жизни. И хотя совершено оно было при множестве смягчающих обстоятельств (я начал влюбляться в Елену, о чем она знать не могла, но все же она была больна и одинока), это был хороший удар по голове.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.